

ИЗ «МАНЬЧЖУРСКОГО ДНЕВНИКА»

МАРТ–АВГУСТ 1905 ГОДА

12 марта. Вот уже больше недели прошло со дня приезда в Харбин¹. Едва ли не самый интересный момент до сих пор был момент входа в зал вокзала Харбина. Ещё раньше зорко оберегаемый прожекторами и проволочными заграждениями мост наводил меня на «военные» мысли, но когда я увидел кишашую толпу офицеров на вокзале, я просто обалдел, почувствовав себя совсем близ «театра войны», как принято выражаться. Стоял сплошной гул, среди которого изредка вырывались взрывы смеха, ругательства, звуки поцелуев. Сквозь тучи дыма еле разглядываешь мрачные, смущённые, злые, пьяно довольные, наглые и всякие другие лица. Да, веселы лишь пьяные, и не хорошая весёлость озаряет эти животные морды. Трезвые все бледны, встревожены, недоумевающе или озлобленно. И всюду ужасные вести о бегстве из-под Мукдена², панике, охватившей правый фланг и середину фронта, сдаче Телина.

Один слух ужаснее другого и, наконец, все они венчаются вестью о том, что китайцами и хунхузами³ перерезаны все раненые и больные, оставленные в Мукдене. Я весь содрогался от ужаса и жалости к тысячам жертв. Не меньше 60, а, быть может, 150 тысяч, говорит мне молодой поручик со слезами на глазах. Я мысленно прилагаю сюда столько же японцев, и после этого всё остальное, что говорят мне, теряет свою значительность. Наш обоз разбит, растерян, японцы впереди, идут на Цицикар, грозит отрезание от России, бунт китайцев. Всё это ужасно. Но пусть это будет скорее, чтобы не гибли эти сотни тысяч, кабы сразу конец.

Я прислушиваюсь к тому, что говорят на эту тему другие, и удивлённо замечаю: нет никого за продолжение войны, даже офицеры, и молодые, и старые, и солдаты, и врачи, все одно твердят: «не можем мы одолеть, что же зря губить людей и деньги». Грустно говорят это одни, злобно другие, равнодушно третьи, но нет другого мнения. Так силён ужас бегства, паника довела всех до отчаяния, казалось, всё поникло и сдалось. А посреди зала стоит стол, уставленный бутылками, там сидит весёлая, наглая компания, бессмысленно хохоча, ругаясь и крича. Шампанское льётся рекой, дорогие фрукты валяются под столом. Офицеры празднуют победу тогда, когда их товарищи, ободранные, грязные, убитые горем, жалкие и глубоко несчастные. Какие ужасные контрасты на каждом шагу. Как пьяный, я вышел оттуда на перрон. Холодно. Резкий ветер заставил меня очнуться, и опять вихрем пролетели в голове все слухи, только что слышанные и на лету схваченные, и горькая мысль: знали бы эти ужасы тыла там, в столице, быть может, это

заставило бы их склониться к миру. Полчаса видеть эту толпу довольно для того, чтобы ужас и отчаяние охватили человека свежего, как же чувствуют себя ветераны?

Растерянный и совсем разбитый притащился я в вагон. К нам пришёл товарищ, Комаров, и стал рассказывать об ужасах, виденных им во время отступления, о панике обоза, о трусости войск, о всевозможных опасностях, которым подвергаешься.

И я испугался, я струсил, чуть ли не плакал о том, зачем и меня занесло сюда, я мог бы спокойно сидеть теперь дома, а что будет теперь со мной. И мне мерещились то хунхуз, то шимоза⁴, то болезнь. Я стыдился себя, но я не мог отделаться от этого страха. Дай мне возможность бежать, и, кажется, я бежал бы сию минуту. С тяжёлым чувством в душе ложился я спать.

* * *

Что такое? Ах да, ведь я уже в Харбине. Что-то вчера говорили. Я, кажется, сильно трусил вчера. Сегодня лишь неприятно, страшно досадно. И зачем я видел такой хороший сон? Я был дома, болтал с ребятами, был с ними на ёлке, видел, как сидим рядом так спокойно. Я как-то на вечере самому себе говорил о своей поездке на Восток и, улыбаясь, смотрел на их встревоженные лица. Я видел спокойное лицо мамы, так любяще глядевшей на меня и слушавшей мои жалобы на тоску. Но я проснулся, и всё исчезло, и слёзы навернулись на глаза от досады. Тяжёлый вечер был вчера. Тяжёлое утро сегодня. Не того ждал я от приезда в Харбин.

* * *

Общежитие Красного Креста полно. Я сплю на полу, кругом миллионы тараканов, ползающих и по мне. Я один сейчас. Я рад тому. Я не могу видеть сейчас товарищей, так спокойно расположившихся тут, не тоскующих по оставленному там, позади, и не стремящихся скорей туда, вперёд, где можно найти забвение. Не их я хочу видеть, не с ними говорить, не их ощущать близость.

Мне безотчётно горько. Я придираюсь ко всем и всему. Одна мысль, одна мечта — скорей отсюда прочь на юг. Обтрёпанный, измученный вид товарищей, прибывших оттуда, их лихорадочные рассказы о пережитом ужасе бегства и паники забили все страхи и колебания, и вновь внутри меня бурлило лишь желание самому всё видеть, самому делать дело, самому жить, а не прозябать. Раз я уже тут, назад нет дороги — я возьму всё, что можно, сделаю всё, что могу. И мне не страшно уже, я не боюсь за себя. Я начинаю мечтать о предстоящих авантюрах и об интересных рассказах дома среди милых лиц, и уношусь отсюда..., но ко мне вламываются четыре врача, грубых, мрачных, обозлённых, и мои мысли меняются. Чтобы не слышать их,

я вспоминаю впечатления дня. Масса китайцев, их цирюльники, рикши⁵, чиновники, вся жизнь полукитайского города, панорамы на улицах. Уже теперь я видел много нового, и я утешаюсь.

* * *

280 верст ехали ровно двое суток. Ночью стояли на разъездах иногда по пять часов, пропуская встречные паровозы и поезда из Мукдена.

В Гунчжулине опять толпа офицеров, безалаберщина, гам, толкотня, разобранный буфет и шампанское на столах. Бездна врачей, сестёр и др. Не скоро нашли помещение в железнодорожном госпитале. Масса новых слухов и толков. Леня даже записывать.

Сегодня сюда перевели общежитие Красного Креста. Теперь едим хорошо, но вид множества ничего не делающих людей, писк и говор сестёр, ругань врачей, морды ухаживающих офицеров портят настроение. Спим на полу, но в отдельной палате впятером. Ходили по городу, всё только лазареты и госпиталя. Масса войска, поэтому угнетающее, мрачное впечатление оставляет он. В облаках пыли палатки, грязные фигуры людей, злых, усталых, грубых и шумных. Их крик, брань, хохот раздражают. Все бегают, суетятся, торопятся и сливаются в одну движущуюся и гудящую массу, совершенно беспорядочную и чуждую мне. Я хожу как лунатик, машинально замечая всё, но не разбираясь ни в чём, и ощущаю всё больше и больше накапливающееся раздражение и безысходную тоску, страстное желание увидеть что-то близкое, дорогое или хорошее, нужное, дельное и человеческое.

И всегда все прогулки по городу оставляли такое впечатление. Раз оно обострилось и приняло новый оттенок. Я видел партию хунхузов, трёх японцев и русских перебежчиков, сидевших в кругу солдат. Японцы производили хорошее бодрое впечатление смыслёных и знающих себе цену



Г. А. Ивашенцов

людей, хунхузы казались «мирными» китайцами, русские арестованные молчали и сидели смиренно. Стоявший тут же офицер стал издеваться над одним из них — евреем. Тот молчал, но каким взглядом он смотрел. Я не видел никогда более зловещего взгляда, более ужасного, нечеловеческого выражения лица. Так смотрит человек, потерявший от грязи свой облик, больше походивший на животное, на зверя, человек, всей душой, до самозабвения ненавидящий другого, нахально стоящего перед ним и издевающегося над его униженностью, когда он сам должен стоять руки по швам и не смеет пикнуть. И мне ударила в голову мысль: ни хунхуз, ни японец не ненавидят этого офицера столь сильно, как ненавидит его этот затравленный волк. Какой ужас! До чего дойдут люди в своём зверстве, что сделали бы с этим офицером все они, если бы не стояли тут солдаты, а они были бы господами положения. Им всем грозит смерть, а как жаждут они мести, как жаждут они мучений своих тиранов. Сколько же тут ненависти среди кучки царей природы, этой злобной породы земных тварей. И откуда эта ненависть, что породило её, рухнет ли она когда-нибудь? Какой-то без меры ужасный давящий призрак стоял передо мной. И я весь дрожал внутренне, мне всё время казалось, что сейчас что-то произойдёт страшное, зловещее. Неужели это лицо останется немым идолом ненависти и беспомощности. Неужели оно не загрызет кого-нибудь из здесь стоящих. Да, оно исчезло, ему разрешили отойти. И оно отошло. Сила духа не сломила физической силы. Надолго ли?

* * *

Лучшее место города — китайская слободка. Там жизнь кипит ключом. И всё делается на улице: тут и блины пекут, и стригут, и чай пьют, всё что угодно. Улицы узенькие, по ним мчатся рикши, толкутся пешеходы. И все гадят весело, шумно, оживлённо.

За город мы ходили пешком и ездили верхом. Последнее доставляло особенное удовольствие. На солнышке тепло, ясное небо, хороший воздух, новые пейзажи, фанзы⁶ и кумирни⁷ кругом, интересное население, всё это вместе хорошо настраивает. И когда лежишь на солнышке, на берегу реченьки и наслаждаешься весной, то хочется скорей в летучку⁸. Вообще желание скорей пристроиться довлело над всем. Всё же мы просидели в Гунчжулине семь дней и лишь сегодня получили назначение в 4-ый летучий отряд к доктору Абрамовичу во вторую армию. Бедная мама, забеспокоится она, как мог, успокоил её письмом. Сам я уже не боюсь ничего даже после рассказов Чернозерского о шимозах и прочей дряни. Только бы что-нибудь делать, и поскорей. Много тоски все эти дни от ничегонеделания. А как страстно хочется получить хоть одно письмецо. Когда же я вернусь и как?

* * *

15-ое провели ещё в Гунчжулине. Выехали 16-го в два часа дня. Отряд состоит из доктора, фельдшера, двух студентов, пяти санитаров, трёх китайцев, пяти казаков, одного солдата, одного пса-маньчжура и 27 лошадей. Пока очень понравился пёс, остальные желают много большего и лучшего.

Авось стерпится-слюбится. Ещё вчера было холодно. А сегодня выехали по снегу. Не скажу чтобы настроение при выезде было хорошее, да и откуда ему было быть: лошади отчаянные, компания гадкая, холодно, а мне ещё и больно. Дорога шла рядом с полотном маленькой дороги, грязная, неровная. Арбы плелись шагом, скрипя отчаянно и грозя ежеминутно опрокинуться. Навстречу тянулись различные обозы, то артиллерия, то Красный Крест. Не успели и пятнадцати вёрст отъехать, пришлось заночевать. Для этого остановились в фанзе. На счастье, стоянка оказалась очень хорошей, наши хунхузы-солдаты ещё не мародёрствовали тут. Плетень цел. Он обнесён кругом большого двора, уставленного всевозможными пристройками к фанзе, свободное от них место разгорожено на купе, так что чистый двор весьма невелик. В самой фанзе (нашей мазанке) с крышей из плетёной соломы кроме сеней две комнаты, налево и направо. Каждая из них почти вполне занята канами — род наших лежанок, покрытых циновками. Мебель состоит из грубых скамей и китайского низенького стола. Фанза небогатая, и потому мало убранства и картин.

Вскоре после нашего приезда на место стемнело. Полюбовавшись мало-мало на эффектную картину двора с нашим обозом, освещённым кострами, вокруг которых сидели санитары, я завалился спать. Сильно болел живот и геморрой, что мешало мне относиться ко всему оптимистически. Мне было сильно не по себе. Но усталость не дала ходу мрачным мечтам.

Проснулся рано велением больного организма. Вышел во двор и остолбенел. Земля на четверть покрыта пушистым ослепительно белым снегом, который продолжает хлопьями сыпаться и посейчас.

Решили обождать, боясь сбиться с нашей дороги. Было холодно. Я залез в мешок и стал читать Лежара⁹. Днём фанза имеет менее уютный вид, очень она грязна. Бумажные окна, разделённые на множество квадратиков, всё же дают много света, чего я не ожидал.

После обеда выехали. Я был всё так же мрачно настроен и вовсе не был расположен садиться на лошадь. Это было ехидное животное, ходившее на цыпочках, нога за ногу, непрестанно спотыкаясь и отряхиваясь. На мои просьбы двигаться живее она не обращала внимания, а редкие моменты её оживления почти всегда совпадали с моей неподготовленностью и законным нежеланием. Она пускалась в рысь, а я корчился от боли и с замиранием сердца прислушивался к неистовому бульканью в кишках.

Сегодня и остальные члены отряда настроены мрачно, и только Паллон гордо гарцует на своем одре¹⁰, внезапно пожелавшем идти впереди всех.

Долетов, не зная дороги и не спросив о ней вовремя, прогнал нас лишних три версты. Последние версты за Годзедянем мы ехали уже по холмистой местности в сторону от полотна дороги. Меня так растрясло, что я предпочёл идти пешком. Приют нашли в большой фанзе, которую я и рассматривать не стал, так торопился согреться и уснуть в мешке. Всё также нездоровится и всё также думается, чем кончится эта авантюра, и хорошо ли, что ей суждено было свершиться, что делается дома, подозревают ли они все мелкие неприятности, окружающие меня тут. Я знаю, почему я так дурно настроен, мне холодно и нездоровится. Будет теплее — станет веселее.

18-го в 9 часов выехали. Морозный ясный день. Сильно дует и злит меня холодный ветер. Ещё утром недоразумение доктора с санитарями оставило во мне дурное настроение; оно всё развивалось по мере увеличения препятствий в пути: грязь невероятная, скользко, моя гидра-кляча не упустила случая сделать мне пакость и растянулась, бросив меня через голову, причём старательно выбрала самое грязное место. После этого подвига она всё время старалась идти рысью, так что я принуждён был пойти пешком. Озябший и злой, шагал я по грязи, совершенно забыв, что я в Маньчжурии иду с летучим отрядом на позиции, не замечая сутолоки вокруг при встрече с обозами. Я шёл, понуря голову, и думами унёсся так далеко отсюда. Виделся и говорил с самыми дорогими лицами, слушал любящие, ласковые речи. Не знаю, от них ли, или от ходьбы, я согрелся и бодрее посмотрел кругом.

Как раз мы смешались с массой солдат, идущих на юг и разорвавших на месте стоянки фанзу, и с длинными обозами военного лазарета. Все кругом шлепают по грязи, ругаясь и неистово крича на мулов и лошадей, друг на друга. Ни одного приветливого лица, ни одного весёлого взгляда. Все хмуры, все чужды друг другу. Не мудрено, что моя бодрость погасла, и опять поникнув головой, я поплёлся вплоть до места стоянки.

В здешней фанзе, стоящей недалеко от гор Маймайкой, масса хозяев: старики, взрослые и дети. Симпатичны только последние, хотя все на вид безобидны и добродушны. Фанза маленькая, но чище других и оклеена внутри картинками, образами и пр. Много утвари, своеобразной, но неинтересной. Стали топить кану (печка у лежанки), и вдруг оттуда раздался писк. Мы стали объяснять китайцам, что там собака, но они, не понимая нас, не прекращали топку и только удивленно кивали головами, не понимая причины нашей суетни. Вдруг один из них услышал писк. Мигом вынул топливо и спустя 5 минут при всеобщем восторге из дыры кану вылез пёс. Китайцы кричали «Шанго¹¹, капитан» и скалили зубы. Для меня это была первая радость со времени выезда из Гунчжулина.

* * *

29 марта. Одиннадцать дней торчим на одном месте без дела. Для записи бывших событий намеренно выбрал сегодняшний день, так как это

один из крайне редких дней, когда я ложился спать в сравнительно бодром настроении духа, а события сами по себе так мало отрадны, что мрачный тон описания является излишней роскошью. Начну с начала.

Первые дни пребывания ознаменовались знакомством с городом. Он не велик, но типичен. Кругом обнесён рвом и толстой стеной, имеющей четверо ворот. От восточных к западным тянется главная улица, пересекаемая переулками. Она в средней части заполнена лавками, перед каждой из которых стоят столбы с китайскими надписями или вывесками, иногда на высоком столбу с драконом развешены образцы товара.

Почти все лавки на один лад. В большинстве мануфактурных лавок вещей почти нет, зато съестные припасы — лепёшки, печенье, пряники, сладости и прочее имеются в изобилии. Тротуары и сама улица усыпаны китайцами, продающими, покупающими и просто околачивающимися. Толпа кричит, бранится, торгуется, толкается, как и подобает толпе китайцев. Их оживление передалось и нам, и охваченные покупательной горячкой, мы сразу набросились на всякий хлам, платя, конечно, по незнанию втридорога. Китайцы пленяли ласковостью. В лавке нас угощали сладостями, сахаром, скверным жидким чаем, папиросами, хлопали по плечу, без конца повторяли: «Шанго капитан шибко накамы шатоде тайфу» и прочие любезности. Мы скоро приобвыкли понимать друг друга и умудрялись далее вести длинные беседы о вещах, не имевших непосредственного отношения к покупкам. Результатом этого увлечения были обильные покупки, испарение денег и широкое знакомство со всеми лавками. Прогулки по городу осточертели, так как нового типа интересную сценку редко удавалось наблюдать. Посчастливилось видеть, как несли какую-то важную птицу в носилках: впереди шёл китаец, лупивший в гонг палицей, за ним полицейские и солдаты, потом четыре секироносца и наконец тащились восемью человеками носилки — низенькие и изящные. Внутри сидела старая морда, почти белая, с умным выражением раскосых глазешек и нарумяненными щеками, в шапке с пером и стеклянной шишкой. Народ мало обращал внимания на него, хотя и разгонялся ударами бамбуковых палок по спинам.

Пока не были замечены и изучены все мелочи и особенности этой массы фанз, лавок, и население казалось очень весёлым, хотелось слоняться по улицам, присматриваться к отдельным группам, вслушиваться в гнусавый говор, иногда самому покалякать с ходящими¹², но вскоре я стал ходить в город только за непосредственно нужными вещами, с определённой целью.

Сегодня вечером город преобразился, появились какие-то военные, полицейские с ярлыками на груди, масса китайских полицейских и солдат, китайцев сгоняют к фанзам, улица подчищена, около штаба сидят пять генералов на стульях и масса штабных офицеров, одетых с иголки, мелькают милые, близкие сердцу жандармские мундиры и ранги. Вблизи оркестр. Китайцы толпятся тысячами около. Уродливое зрелище, что они безумно любят. Я не стал ждать предстоявшей церемонии награждения героев знаками



Г. Ивашенцов — студент Императорской Военно-медицинской академии

отличия. Видя этих героев тут близко, много слыша о них, неприятно присутствовать при их величании.

Итак, город надоел, что же было делать. Целыми днями мы валялись в фанзе на горячем кане, вставая лишь для еды. Лежа я или читал, или мечтал, или спал. Меньше всего читал, больше всего спал. Мечты наяву были слишком тяжелы, они становились сладкими сновидениями, и тогда я отдыхал душой. Но не всегда, раз начавшись, мои мечтания и думы метаморфизировались так удачно. Долго я буду помнить ужасные маньчжурские вечера и ночи, когда среди трёх спящих, под храп доктора я лежал в своем мешке с широко раскрытыми глазами, стараясь разглядеть в темноте знакомые лица, образы, так страшно близкие в мечтах и так страшно далёкие

в жизни, так страстно и нетерпеливо ожидаемые, заполняющие все мысли, непрестанно ворошащиеся в мозгу. И давно и далеко прошедшие сцены, то радостные и милые, как солнечный свет, то мрачные и унылые, как окружающая меня гниль, вставали в памяти. От них воображение переходило к тому, что происходит там, без меня, что делают эти образы сейчас, думают ли обо мне, чувствуют ли, как я живу тут, как мысли о них примиряют меня с моим одиночеством в обществе чужих людей.

* * *

Нашему врачу, вначале решившему всю хозяйственность вести лично, пришлось сразу же столкнуться с многочисленными затруднениями, так как припасы доставать было делом нелёгким. Тем более что из-за рубля не покупался большой баран даже тогда, когда мы рисковали остаться совсем без мяса. Это ужасный скряга, ругающийся с санитарями из-за одной свечи, пяти

кусков сахара и сотой части фунта чая. Скряга, так сказать, принципиальный, жалеющий дать почитать книгу. Санитары сразу же настроились враждебно, а он принял начальнический тон, в то же время почти подчиняясь воле старшего их, проныры и пройдохи отчаянного. Сначала я, возмущаясь нахальством санитаров и веря в основательность только казавшейся нормальной подозрительности доктора, старался лишь убедить его изменить тон и замкнуть отношения, переменить на большую общительность. Казалось, однажды мои уговоры воздействовали, и я стал уже успокаиваться, но вскоре почти в тот же день все попреки в воровстве повторились и даже обогатились жалкими, отвратительными мелкими придирками и скряжническими устрашениями, что стало противно и страшно думать, что санитарам может показаться, что я с ним одинаково думаю. К счастью для меня поддержкой были Паллон и фельдшер Романчук.

И началась баталия. Что ни день, то в лучшем случае размолвка, а то и серьёзная ругань. То он подожжёт хвост и станет извиняться, то опять скряга и самодур пересилит, и он опять глупыми и прозрачными намёками, а то и прямо со слезами в голосе «предлагает» самим о себе заботиться, так как он не может напасть на всех, что будто бы нам нужно. Первый серьёзный разговор возник из-за того, что я по его же предложению не поехал в отчаянную бурю и пыль за 20 вёрст за фуражом. Второе пререкание из-за лишнего рубля, данного мною китайцу за чумизу¹³ и т. п.

Кончились эти истории всё же не примирением и соглашением, а полнейшим разрывом, установились прямо враждебные отношения. Он придирается ко всему: к кофею, выпитому без его особого разрешения, к своейвольной прогулке на лошади, к чему угодно. Мы же, конечно, не стесняем себя, находя достаточным самопожертвованием есть тухлое мясо и молчать, не трогать его шоколада, вина, даже молока. Предъявляем минимальные требования, но держимся их твердо. Трудно описать все мелочи, да и не стоит ли того, так много мелкой гадости, незачем пережёвывать, скажу одно, не будь у меня поддержки, давно убежал бы отсюда, слишком тяжело видеть, как санитары по праву издеваются над скупостью и несуразностью врача. Когда он бывает среди нас, мы втроём говорим о том о сём и только молча наблюдаем за ним, замечаем его после взгляда, ищем повода вызвать его на открытый разговор вместо гадких намёков. Стоит ему уйти, фельдшер начинает злословить, стараешься отмалчиваться, не желая взвинчиваться, но иногда не выдержишь, скажешь резкость.

Да, не увеселяло всё это. Отдыхаю только при чтении Маттеуса, болтовне со славным, полюбившимся мне китайчонком Я-Дя и другими ходями. Славные они, если хорошо обращаться с ними, внимательные, трудолюбивые, добросовестные и признательные.

* * *

Тут всякие есть. Один старик очень типичен, целый день шляется и рыщет по двору, согнувшись и зорко поглядывая по углам. Мальчишка Я-Дя был бы хорошеньким, если бы не уродливые зубы. Славные смышлённые глазёнки, потешный нос, смуглое круглое личико и жиденькая косичка из-под круглой шапочки, надвинутой на бритый лоб. Всё вместе пресимпатично. Целый день он что-нибудь делает: то стирает, то точит ножи, то окна клеит. Всё делается медленно, но добросовестно, по-китайски. Ко мне он относится дружелюбно «шанго шибко знакомы». У китайца среднего по возрасту я учусь китайской грамоте и поучаю его своей. Он радуется каждому новому выученному слову так искренне и весело. Моя понятливость и заинтересованность нравятся ему, а неправильное произношение смешит до слёз.

Я-Дя покатывается от хохота, когда я спрашиваю, кто такая «бабушка Дзауея» и пр. Сегодня и эти уроки не понравились доктору, которому они «надоедают». Он не понимает, как можно заинтересоваться этими «идиотами». Ещё два симпатичных китайоза служат у нас при арбах — Вин-Чин-Е и Тин-Фас-Сан. Первый — солидный старик, а второй — весёлый парнишка 21 года в каком-то широчайшем архалуке¹⁴, всегда оборванный, в меховой шапке, со славным лицом, неистово щелкающий бичом и кричащий «во-во-йю, чир-чир-чир и и» на обоих мулов. Так жалко, что нельзя с ними поговорить по душе, порасспросить хорошенько и поразобраться в их мирке мыслей. Жаль и что среди санитаров нет симпатичных типов. Всё больше шарлатаны и хулиганы.

* * *

4 апреля. Много, много нового. 2-ого числа вечером наш фельдшер привёз неожиданно мне 5 писем и 3 телеграммы. Письма мамы так сильно подбодрили меня, так много доставили радости, что я перечитал их по три раза, всё с таким же интересом.

Все вести из России сильно сблизили меня снова с тем миром, с их жизнью и настроением, со всем, что начинает затуманиваться тут, в гнусной обстановке маньчжурской жизни. Умственное метание, интеллигентная лихорадка, заменяются тут не определяющей по граням злобой на всё. Слишком много поводов к тому, чтобы не различать минимальной части хорошего среди бесконечной массы гадости. Куда ни помотришь, мародёрствующие солдаты, не стесняющиеся, стоя на посту, отнимать у китайцев, выходящих из города, их покупки, так что требуются специальные замечания офицеров или врачей, чтобы их оставили в покое, в награду за что китайцы подносят им груши, яйца и прочие лакомства. На улицах города они не стесняются лупить китайцев, на глазах офицеров умудряются красть не только кур, но чушек и солонину. Пошедшие в интендантство чиновники

лаются отчаянно, ломаясь своим всемогуществом. Заведуют им поручики, не достаивающие взглядом скромно просящего сведений студента. Справедливость, правда, требует отметить двух очень предупредительных поручиков. Прапорщики производят совсем другое впечатление. Неприятно удивляет, когда прапор артиллерии с воодушевлением рассказывает о «такой приблизительно» величине снаряда 11-дюймовки, чего он никак не ожидал, по его же словам. Они в большинстве случаев очень жалки, хотя иногда сильно невзрачны и господа офицеры. Только штабные ещё недавно сумели щегольнуть своими парадными мундирами. Солдаты ходят какими-то ихтиозаврами. Кто в китайском халате, кто в штанах, кто в валенках, кто в сапогах, головные уборы не поддаются описанию, какой-то грязный ком шерсти. Ободранные, засаленные, обросшие, со злыми обрюзгшими лицами, с постоянной бранью на с позволения сказать устах. По вечерам их, видимо, заставляют петь песни, что началось с назначения Линевича¹⁵. Часто теперь под этот жалобный, щемящий душу вой вспоминаю я лагеря. Какие это глубоко несчастные существа!

Да, за всем этим как-то позабылись «петербургские события»¹⁶. И теперь, вспомнив их, всё окружающее меня кажется лишь злой забавой, мелкой прихотью произвола, ничтожным придатком к общему необъятному несчастью и унижению всего населения, кроме жалкой кучки тешащихся и только в последнее время дрожащих при виде ужасных последствий злой игры. Не тех последствий, которые мы видим тут, ничего этого они не видят и могут делать вид, что не видят, могут лгать и обманывать, говоря, что не всё потеряно, а последствий петербургских событий, о которых тут говорят с потерянными или ликующими лицами. И, о радость, среди последних есть и офицерские.

«Ужасное» отношение общества передалось стоящим за Царя и его отечество. Доигрались!

Эх, кабы была возможность размазать все подробности событий так же открыто и всесветно, как пишутся, творятся и приказываются заведомо ложные. Притворные величания и приветствия «героям Востока»!

* * *

У нас был доктор Калашников, бывший в плену у японцев 17 дней после взятия Мукдена. Много рассказывал, и часто прерывали мы возгласами почтительного удивления перед порядочностью и распорядительностью японцев. Превосходный порядок и чистота в городе, аккуратность и законность надзора, предупредительность командующих, не носящихся с табуном сопровождающей их охраны и колоссальным штабом в эполетах, а имеющих около себя лишь одного адъютанта и двух вестовых, их вежливость и справедливая оценка работы врачей, — всё это было так непохоже

на виданное нами вокруг себя. Их газеты украшены портретами Плеве¹⁷, Ковалевского¹⁸, Гапона¹⁹ и др. На всё установлена разумная, не давящая на китайцев такса. Лишь медицина, по словам русского врача, хромает диагностикой и грязью в операционной, не мешающей врачам быть весьма самоуверенными и обидчивыми. Русским врачам не дозволялось делать операции без разрешения японских. Пленных русских исчисляли в 40000. Общие потери под Мукденом 120 тыс. человек.

В плен было взято несколько мертвецки-пьяных братьев милосердия. От одного из них Гучков²⁰ отказался, и его признали военнопленным. За время плена наши санитары украли у Калашникова все вещи. Один пиджак был продан Машкаловым казачку, который, не зная, откуда пиджак, одел его при Калашникове. Последствия можно себе представить. Чистые хулиганы. Поведение нашего врача приводит Калашникова в крупное недоумение.

* * *

7 апреля. Счастье! Хвала богам! Только что из бани. Да, да, настоящей русской бани при III-ем лазарете. Вдобавок там поужинали. Как чисто, на столе с салфетками. Ели ветчину с пюре и геркулес. Пили чай с печеньем и галетами. А как они живут! Спят на носилках, едят за особым большим столом, сидя на скамейках. У них двери есть, самовар, стаканы! Как чудный сон мне вспоминается, что и я когда-то жил так где-то далеко на Каменноостровском²¹. Но это было, кажется, очень давно. Ведь мы уже столько времени едим грязную воду с тухлым жиром и жилами, т. е. мясом в обед, причём блюдо ставится на кан рядом с моими сапогами с навозом и носками Паллона. У меня всё же есть тайные подозрения, что интеллигентное житьё ещё повторится. Ведь стал же я чистым, мытым, а как мало был похож на такового ещё вчера. А это препотешное чувство знать, что ты чист, свинство, что начинаешь недружелюбно смотреть даже на ту грязь, которую раньше почитал необходимой, не только что неизбежной. Да, странно. А много странного я вижу в последнее время. Странная жизнь, странные люди, странное поведение, странная погода.

Сегодня мы шли вот сейчас ночью домой. Луна была. Так хорошо, тихо, таинственно в городе. Грязь гавкает, булькает и трещит под ногами. Кажется, такая масса клейстера там внизу. Поскользнешься и ударишься плечом о стенку, возведённую около фанзы. Красные точки вместо фонарей могут только смешить, а никак не светить. Передо мной на фоне фонаря Паллона скачет и гнётся какая-то слишком чёрная фигура. Вот-вот она шлёпнется. Она весело рассказывает об удивительном ужине, который она сегодня ела, и ежеминутно рискует откусить себе язык и проглотить его вслед за ужином. После каждого особенно бурного и неизящного движения тихий сонный воздух оглашается речитативом крепких слов. И всё это ужасно странно.

Почему я тут, что это за странные очертания жилищ, что это за ворота с часовыми, какое странное место. Но это ещё ничего, а что же случается, когда мы выходим из ворот. Ревёт и режет лицо ветер. Луна исчезает, и валит хлопьями густой снег. Через пять минут дорога, поле, я, всё становится белым. Снег благодаря ветру и неровной почве лёг с одной стороны колеи и выбоин, оставив другую чёрной. И получился полный эффект лунного освещения. Да так точно, что я много раз подымал голову посмотреть, не вышла ли луна. Я спрашивал других, и они подтверждали моё мнение, правда, вяло, так как чудный ужин на них подействовал очень сильно, да и они были легко одеты и, следовательно, толковать об отвлечённостях не склонны. Но я поражался до обалдения, какое чудное доказательство того, что при гениальном умении пользоваться красками, ими можно изобразить живой свет, истинное освещение, а не намёк на него! И это было странно — идти по полю, ярко освещенному луной, и не видеть самой луны.

Но самое странное в этот день было то, что доктор не ругался на наше позднее возвращение и на найденную разбитой банку водки.

* * *

12 апреля. Второй день благодушествуем благодаря отсутствию доктора, оставившего старшим Паллона. Вчера ничего отметить не хотелось, а сегодня день очень интересный. Поехал к Савваитову. Лошадь часто спотыкалась, поэтому я предпочёл идти пешком. Погода ясная, но сильно ветреная. Кругом мало жизни, а иногда ни души не видно. Я шёл, глубоко задумавшись о России и о сохранности всего окружающего.

Внезапно поднимаю голову и вижу перед собой фигуру военного врача. Он спрашивает, не студент ли я, и представляется. Я называю себя.

— Ивашенцов, — повторяет он, — у Вас не было родственника на войне?

Я говорю, нет, а что, быть может, штабной, да и то не родственник, а однофамилец. А, впрочем, правда, мой дядя тут, — говорю я, вспомнив о Васеньке Ивашенцове²².

— Как зовут?

— Василий Васильевич. Ну, так что же?

— Умер.

— Да ну.

— Да, да. Три раны под Ю-хан-тунем, в пах, грудь и голову.

Я был сильно поражён, но не столько смертью дяди, сколько случайности сведений. Кругом так широко, ни души, и тут же врач, лечивший моего дядю, встречает меня и я впервые узнаю о несчастье. Самая весть о смерти не удивила, не огорчила меня. Как это отвратительно индифферентно слушать о смертях других. Ещё две-три незначительных фразы, и мы разошлись. И тут только я задумался, какое это крупное горе для его жены и сестры²³, которые так зависели от него, и мысль, зачем живут такие типы,

завладела мной. Кому они нужны? Но сколько горя бывает и у этих единиц, и горе, пожалуй, безутешнее горя интеллигента.

Так широко и ловко думалось, идя по холмам, совсем один под тёплыми лучами солнца. Какая случайность! Какая прихоть судьбы!

Неожиданно дошёл я до штаба 8-ого корпуса и там нашёл Савваитова, оставившего хорошее впечатление интеллигентного человека. Там же познакомился и с офицером равного сорта. Тут был и изнервничавшийся тип из Красного Креста, возбуждённо говоривший о том, что петербургская резня²⁴ вовсе не трогает его. Слишком много смертей-де он видел тут. Что врёт тот, кто говорит, что не страшно в бою под пулями, что к этому привыкаешь и прочее. Был тут пижон-либерал-волонтер Газнар, были и другие. Общий разговор заинтересовал меня. Так давно я не говорил и не слушал. Мне жалко было уезжать, казалось, что так много ещё есть, о чём хорошо было бы поговорить. Я рад, что удалось рассказать о событиях 9-ого и 10-ого января. На обратном пути, на том же месте встретил того же доктора и доспросил подробности о Василии Ивашенцове. Видно, случайность встреч и его заинтересовала.

Дома вечер прошёл ладно без мерзкой рожи главы отряда. Да, славно было поговорить с человеком, который знает хорошо тех, кто так дорог мне.

* * *

15 апреля. Славно поспал на солнышке в овраге, после чего был принят солдатами-пастухами, по-видимому, за шпиона благодаря моему странному костюму. Похохотал над их надзором. Вечером опять крупный разговор с врачом, причём он просил «не портить ему санитар», с которыми мы, по-видимому, имеем много общего, и причём это общее — враждебность к нему. Ругань была солидная. Он отчаянно кипятился, мы спокойно высмеивали и удачно поддевали его на его же словах и поступках. У, гадина. «Санитар-де обязан лишь исполнить приказание, человеческого отношения быть не может, о нём хорошо говорить в университете, а не в Маньчжурии, вовсе не надо объяснять ему пользу действий и поручений врача, незачем заинтересовывать его....». Мы напомнили «интерес» Машкалова в поставке чушек. Взбеленился и не нашёл лучшего исхода из неловкого положения, как дать Сапонову рубль за находку резки, стараясь показать своё беспристрастие. Он, кажется, готовится к нашей отставке.

* * *

16 апреля. Тяжёлый день. Ездил за резкой за 15 верст. Приехал, когда резку, купленную нами, разбирали по двуколкам солдаты. Выгнал их, заставив заплатить китайцам, которые сильно обрадовались моему приезду.

У них был раненый китаец. Ещё вчера наш Сапонов приехал к ним во время драки с мародёрами. Китайцы, вооружившись дубьём, избили некоторых, отняли винтовку, зарядили её и выпалили в солдата же. Подоспевшие на помощь стали стрелять по ним залпами и вот одна жертва лежала передо мной. Стрелявший же китаец повешен ещё вчера. Мой пациент ранен в правую грудь навывлет ниже ключицы. Харкает кровью и горяч. Рана, повязанная каким-то офицером, нагноилась. Грустно было смотреть на его жену, так любяще ухаживающую за ним и огораживающую его руками, когда он вздрагивал от многих манипуляций. Бедный малый так страдает и, вернее, умрёт лишь за то, что сохранил своё имущество, не зная хорошо, чем он рискует. Какой ужас в теории, и как просто это на практике.

Никого это не волнует: военное-де время и положение. Да, я перевязывал его с тем же чувством, что и рабочего на Васильевском острове. Китайцы хвалили мою работу и в благодарность не хотели брать денег за две арбы резки стоимостью в 6 рублей. Удивительно признательный народ, еле уговорил их взять хотя бы 3 рубля за одну арбу. Сильно тронуло меня это желание отблагодарить за услугу. Видно, богатый урожай там был, а что теперь будет, Бог знает. Солдаты берут всё, что увидят. На обратной дороге я сильно измучился. Прямо навстречу дул адский ветер, поднимавший буквально тучи пыли, по временам заслонявшие арбы в трёх шагах от меня. Кто мог, отворачивался, обвязывался, и все лица стали злые, сощуренные, только славная рожица моего любимца извозчика Сана (Шин-Фан-Сан) была по обыкновению довольна и симпатична, и почти всю дорогу мурлыкал он свои бесконечные песни, которые я очень люблю. Удивительно, как сильно привязался я к нему. Мне нездоровилось, меня то мочило мелким дождем, то душила пыль, лошадь пугалась. И я сильно злился. Но стоило мне посмотреть на Сана, и я стихал.

Вечно весел, бодр, несмотря на издёвки солдат, даже побои их, кроток и ласков. Славная круглая рожица, оживляемая прелестной улыбкой. Всегда комично одет. Кое-как добрались. Я завалился спать и проснулся незадолго до заутрени.

К 11 часам пошли в транспорт, где возведён временно шатёр-церковь. Она окружена факелами, площадками и внутри разбита на алтарь и корабль²⁵. Пришли мы рано, какой-то солдатик препотешно читал про обращение Савла²⁶ на каком-то смешанном языке, не то славянский, не то светский русский. Это длилось довольно долго, и мне стало скучно. Вдруг толпа солдат зашумела и вперед прошло несколько офицеров в полной форме. Вскоре начался крестный ход, причём ходом руководил офицер, другие несли иконы. Они казались такими кроткими христианами. Мне просто не верилось, что ещё только утром я видел их товарища, мучившего шашкой своего денщика и исступлённо ругавшегося. А как дико было думать, что все эти люди, так торжественно служащие, в то же время озабочены тем, чтобы истребить как можно больше японцев, что это христоролюбивое

воинство ругают за то, что оно мало бьёт, плохо дерётся. Немудрено, что вся эта картина была страшна, производила тяжёлое впечатление своей деланной радостностью и религиозностью. «Христос воскрес!» звучало как-то саркастически. Весёлые напевы казались бравадой фанатиков. Блестящий вид офицеров, уже пьяных, среди ободранных солдат неприятно резал глаз.

Я стоял пришибленный под гнётом этих наблюдений, и вспоминался мне длинный ряд радостных, весёлых, одухотворённых заутрень, прошедших несколько лет назад в Царском [Селе], памятная заутреня 1900 года, наш славный батюшка, мирное сияние церкви и всего окружающего, религиозный экстаз, горячее желание громче всех, радостнее всех спеть «Христос воскрес!», какая-то беспредельная любовь ко всему, появившаяся при услышанном возгласе батюшки и при пении хора.

Как хорошо было верить, молиться, как радостно легко на душе было, как осмысленно казалось мне это ночное торжество, такое мирное, большое и значительное. И как это было скомкано, изгажено и надуту вот сейчас. Куда делось бывшее настроение, бывлой подъем, бывлая обстановка? Какое-то скверное представление, какая-то насмешка над окружающим, возбуждающие лишь озлобление и огорчение.

Грустно шёл я домой. Было непроглядно темно, ветрено, неудобно. Ветер доносил пасхальные молитвы.

Я шёл и думал, конечно, о России, о том, что милые ребята, быть может, переживают то, что только что оплакивал их любимец. О том, что сильнее обыкновенного будет мучиться мама эти дни сознанием моего отсутствия, грустно встретит она праздник. О том, какая масса молитв верующих людей возносится там, далеко, за людей, которых я только что видел, и о том, что помогли бы скорее молитвы. Сколько лицемерия и лжи прибавилось за эти дни к безмерному количеству прежней!

Темно, темно на душе было в светлый праздник, так же темно, как и ночь, скрывавшая нас.

Дома устроили разговенье обильными закусками доктора, казавшимися удивительным лакомством. В разговоре с фельдшером я немного развлёкся. Мы старались убрать стол по-праздничному, весело улыбаться и, коротко говоря, суетились и лицемерничали, как и другие. Но только я лёг, как уже опять унесся туда и долго ещё говорил с милыми образами.

* * *

22 апреля. Что-то сегодня опять невыносимо. И тяжело, не знаешь, куда деться, что предпринять. Целый день сидим в фанзе. На дворе буря и адская пыль. И за весь день сказал, быть может, 20 слов. Чувствуешь, что стоит начать говорить, как готов уже или разругаться, или разреветься, какое-то



Глеб Ивашенцов с матерью

жгучее раздражение кипит глубоко внутри, временами вскипая наружу. Началось это ужасное состояние ещё вчера вечером после беседы с врачом 3-его подвижного лазарета. Господи, сколько гадости слышал я: лазарет Красного Креста превращён в летучий публичный дом, сёстры милосердия — в публичных женщин. Две из них живут постоянно, одна с старшим врачом, другая — с уполномоченным, живут открыто, до цинизма, на глазах других членов отряда, будь то студент-врач или единственная приличная сестра. Остальные сёстры заняты на сторону или принимают по вечерам генералов и штабных господ офицеров, которые, не обращая внимания на врачей, приходят буквально щупать их, целуются, пьют «на ты», обнимают, тискают. И врач, говорящий об этом, не жжёт, так как он открыто укорял одну из сестёр в сожительстве и собирается то же писать в общей прессе. Боже! Я так часто писал: куда ни взглянешь, — гадость, глупость, подлость, невежество и рутинка. Я так радовался, когда даже офицеры хвалили санитарную часть и врачебный персонал, самоотвержение сестёр и прочее. Как ужасна причина этих похвал. Врачей превозносят за сводничество, а сестёр — за разврат. Их осыпают наградами за их ласковость. Сожительницы врача и уполномоченного получили по золотой медали на георгиевской ленте — награду крайне редкую и почётную. В угоду своей наложнице, ссорящейся с наложницей врача, уполномоченный старается спихнуть его с поста, а тот ругается с персоналом по малейшей жалобе своей Дульцинеи. Не под силу мне записать всю грязь, которую я слышал. Мне стыдно было вспоминать, с каким наивным уважением я слушал раньше о присуждении сёстрам Соколовой и Васильевой медалей! Я краснел за Каульбарса²⁷, который, не зная пределов лицемерия, целовал ручки тем сёстрам, которыми по очереди владели его офицеры. Гадость, гадость, без меры, без границ, без названия.

* * *

1 мая. Праздник, который не хотят считать табельным. Что-то в Питере, нет ли демонстрации? Читая газеты, так и кажется, что вот-вот вспыхнет крупное движение, такая масса отовсюду хороших, честных и горячих призывов и речей, но не под силу одним говорящим и думающим свалить с себя оковы и сразу взять то, к чему страстно стремишься. Как колючей проволокой обвиваются смело бросающиеся в атаку, так точно хитрыми канителями бюрократии опутываются все, стремящиеся вперёд. Вслед за мольбой отменить положение усиленной охраны я читаю о новых губерниях, подведённых под неё. Какое-то наглое упрямство, безумная бравада зарвавшегося хулигана. Болеешь душой за членов закрываемых съездов, за изгоняемых профессоров и прочее, но радостно отмечаешь стойкость их и определённую требовательность, солидарность мнений, широту движения, стремящегося задеть даже духовенство. Много хорошего, правдивого

и нового читаю там и о войне. Какая наглость, какая подлость предшествовала этой ужасной бойне, вызвала её. Надо иметь неизмеримую наглость нового времени, чтобы говорить о необходимости её и пользе для России. Но что этому удивляться? «Новое время» в номере от 30 марта поместило вид разрушенной фанзы с надписью: «Китайцы после ухода русских, боясь мести японцев, разрушают свои дома». Я теперь знаю этих разрушающих китайцев! Ну, ударь раз, два, но затем до бесчувствия! Неужели не будет скорого конца всем этим клеветам, обманам и лицемерию? Страшно думать, как много в сущности хороших людей верило всему этому и гордо называло себя за это патриотами. Бедные слепцы, если не мелкие легковыеры! Но мне кажется, скоро настанет день, когда чёрное не будет казаться даже им белым, а истинно белое не будет гадиться и затемняться подлыми лицемерами... Так грустно всё же слышать об упорном бездействии и умышленном затормаживании дела со стороны побеждаемых.

* * *

9 мая. Что за дивный вечер был сегодня. Мы вышли погулять и как-то сразу поразились его необычайной прелестью, а потом по очереди обращали внимание друг друга на не поддающееся описанию чувство обаяния дивным воздухом, тишиной и эффектными красками. Я сел на развалины фанзы и замечтался. Далеко впереди горит яркий костёр, и оттуда несётся заунывная солдатская песня, заливиная и так близкая моему настроению. Временами сквозь её мотив слышен марш, знакомый ещё в России, разыгрываемый оркестром в штабе корпуса. Я вслушиваюсь в него, потом в другой, и длинный ряд воспоминаний всплывает в уме. То мерещится вечер в Либавском кургаузе²⁸ и плеск прибоя, тучи конфетти и личико «грызуна», то возникает перед глазами царскосельский каток, маски кругом и «вишни», обвитые снопами соломы с васильками в волосах. Затихает марш, и снова громко несущаяся по шире степей песня бросает меня в ненавистный прежде, а теперь лишь горячо-досадный лагерь, заставляя переживать прошлые настроения, передумывать прежние тяжёлые думы.

Но затихает и песня, и теперь тишина воздуха нарушается лишь мелодическим кваканьем маньчжурских соловьёв. И мною овладевают самые сладкие и самые тяжёлые, расстраивающие меня воспоминания о Гранкине.

Мне кажется, я сижу там на стог сена и гляжу на речку, на птичню, на степь, на мазанки, я смотрю на всё это и в то же время перебираю в памяти, что говорили и делали сегодня малыши, как ласково глядели они на меня, как внимательно слушали, и тихое блаженство наполняет меня всего. Как много было таких вечеров, как удивительно хороши и высоки по настроению были они. Повторятся ли они? Да, это самые сладкие и самые тяжёлые воспоминания. Я так страстно люблю их и так страдаю, переживая их. И сейчас всё кругом — эта степь, мазанки, лозняк, пашня, эта тишина

и простор так живо пробудили их. Но всё грустное в них сегодня особенно явно оттенилось сознанием, что в 6 верстах от этой мирной картины сидят в окопах несчастные люди, подстерегая других несчастных, что эти мазанки населены не флегмами-хохлами, а полудикими и озлобленными поддобиями людей, выгнавших оттуда трудолюбивых и мирных китайцев-хозяев, что эти пашни не обработаны и не дадут того, что давали каждый год, что масса народу, могущая погибнуть... Эх, да просто сознанием веющего кругом призрака войны и злобы.

Невыразимо грустно стало мне. Глаза наполнились слезами. Я вспомнил, что я — не один, и взял себя в руки. Я сказал: «пять-шесть таких вечеров подряд — и бросишь всё и помчишься в Россию». В таком мечтательном и грустном настроении я пришёл в фанзу, и меня сразу же облаял доктор, утверждая, что без нас могли украсть консервы. Как дико было это.

Я взялся за саньсян и тихо перебирал струны. Я играл «Три красавицы небес». Прошлый год этот день был лучшим в целом году, а быть может, и в моей жизни. Я вспомнил его во всех подробностях и легче стало на душе, светлые образы осветили и согрели её.

Не напиши я сегодня маме письма, я и не вспомнил бы о том, что я сегодня именинник. Как это мало похоже на прошлый год, когда я ждал этого дня с нетерпением, заранее составляя его программу. Разно встретил я его, разно и провёл. Тогда были ребята, шумные игры, весёлая возня и изящное угощение, теперь один, тоскливые думы, мрачная тишина. Грустно.

* * *

Вне порядка пишу о последних событиях. Третьего дня начали получаться слухи о разбитии нашей эскадры²⁹, а вчера они выяснились подробнее, и сейчас мы слышим о гибели всей эскадры, пленении адмиралов, сдавшихся судах и потоплении гигантов. Козырь, на силу которого надеялись даже те люди, которые, казалось, благоразумно отказались от всяких надежд, побит. Самое ужасное Мукденское поражение, кажется, бледнеет перед этой потерей последних остатков морского могущества Руси. Казалось бы, она должна раскрыть глаза оптимистам-политикам, поразить и сократить наглость политиков-мерзавцев и поддержать, даже, увы, порадовать политиков-пессимистов, истинно страдающих за Русь и здраво смотрящих на настоящее положение, верно разбирающихся в нём. Но вышло не то, вышло что-то ужасное и бессмысленное. Оптимисты только обабдели по обыкновению, часть пессимистов-здравомыслящих оказались только с виду таковыми, сразу же сбившимися с позиции и завопившими о необходимости мстить за жертвы, оставить которые так невозможно, но ужаснее всего действие этой ужасной потери на политиков-мерзавцев. Они озлобились, озверели и велели — продолжать войну до смерти последнего солдата до тех пор, пока сидит на престоле Николай II. Я не помню, когда

я волновался и болел душой так, как сегодня. Кажется, только непосредственное впечатление январских событий может сравниться с воздействием этого указа на моё самочувствие и настроение. Боже, что делается в России, что переживают там отцы и матери новых жертв, ведомых на заклание, что думает и как выносит своё горе весь народ, как настроено общество. Мне мерещатся зверские, бессмысленные бунты, резня грандиозная и страшная, — это, как если озлобится дойная корова, то справедливую злобу свою выразит бессмысленно и зверски. Или голод, эпидемии, стоны и жалобы, безмолвные страдания — это если такая корова забыла даже свои животные инстинкты и достигла той степени забитости, когда нет уже ничего, могущего вывести её из повиновения. И то и другое страшно, первое — зверской активностью, второе — гнусной пассивностью.

Что делать, что выбрать, не знаешь. И мечешься, как в горячке, с мыслью, как быть, что сделать, чем жертвовать, чтобы научить всех, как нужно себя вести, кого слушаться, на что решиться, кого и что полюбить, кого и что возненавидеть и низринуть. Нет ничего ужаснее сознания своего бессилия. Так горячо веришь, так страстно желаешь, так крепко любишь, и всё должен затушить и спрятать дальше, подчиняться бессмыслице, зверству и подлости, слушать их прославление и величание, слушать молча, не протестуя, чтобы не подвергать свои святыни пошлой и лицемерной критике или просто облаиванию изуверов. Скорчишься в своем углу, стиснешь зубы и весь дрожишь от напряжения, зная, что стоит проронить одно слово, и плотина прорвётся, неудержимый поток дорогих мыслей и слов прольётся на разлившееся кругом болото или смешается с ним в слишком незначительной доле, или будет, как масло на воде, плавать, не смешиваясь и не оказывая таким образом даже незначительного влияния на качество загнившей воды. И чем дальше слушаешь гавканье и хлюпанье болота, тем ниже опускается голова, и порой кажется, что никакая канализация, никакая работа не высушит, не уничтожит его. Тогда становится невыносимо больно и страшно.

* * *

12 мая. Днём были в китайском балагане. Презабавно. Сделан из циновки большой шатёр. Внутри расставлены столы, по бокам и в конце шатра эстрады. На столах расставлены чай, орехи в сахаре и арбузные семечки. Эстрада убрана коврами. На ней позади и по бокам сидят музыканты: барабаны деревянные, кожаные, скрипки, что-то вроде домр, гудки, литавры и ряд кастаньет. Играют старательно, оглушительно и маловыразительно довольно однообразные мелодии. Артисты, раскрашенные и разодетые, выходят в одни двери, говорят, поют, пляшут или кувыркаются, и выходят в другие. Дам изображают мужчины, очень ловко передразнивая женскую стыдливость и неподступность. Есть комики, есть, видимо, резонёры. Сути я не понял, кажется, вначале был род дивертисмента. Китайцы-зрители



Г. Ивашенцов во время Русско-японской войны

громко болтали, попивая чай и грызя орехи. Громко окликали друг друга с одного конца шатра на другой, иногда ржали, но в общем, казалось, не больно уж внимательно следили за артистами. Наши сёстры много больше занимали их. Я выпил 12 чашек китайского чая с их же сахаром и захотел было спать, но пьеса подходила, казалось, к апофеозу, и вдруг загредел гром и полил ливень. Актёры спешно утаскивали декорацию. Зрители, в том числе и русские капитаны, полезли под столы. Лишь кончился дождь, мы поспешили домой, хотя нам обещали довести представление до конца. Пообедав, забежали к Беннигсену³⁰ и, поговорив с ним, решили немедленно тронуться домой. Выехали и сразу попали под ливень. И все 30 вёрст

мы ехали под дождём с мелкими перерывами. Я закутался в бурку, но она не спасла меня, и к Баиньянгену я сидел в луже воды, налившейся на подотстанный брезент, весь мокрый. На душе стало невыносимо грустно и нудно. Казалось, что несчастнее человека и представить себе нельзя. И несказанным блаженством представлялась даже просто сухая фанза и тёплая, покойная постель вместо мокрой и тряской двуколки. На дороге никого, кроме нас — всё попряталось. Вместо пути — болото. И всё кругом серое, грустное, жалкое, беспокойное тяжело давит мозг, под надоедливый шум. Встречные китайцы под зонтами оглядывают авантюристов-студентов, и их взгляд лишний раз заставляет меня задуматься о том, зачем, для чего я попал в такую обстановку, кому это нужно, и что бы я ощущал в это время в случае, если бы не поехал сюда, с кем говорил бы, на кого смотрел. Я совсем размяк от жалости к себе, как вдруг у меня мелькнула мысль, что, быть может, в этой же двуколке, под таким же проливным дождём на днях поедут раненые, почти мёртвые от лишений и изнурённости, да ещё подвергшиеся им не по своей воле, а по злему насильственному умыслу других.

И мне стало стыдно за себя и страшно за них. Насколько легче представляешь себе ужасы войны и лишения, чуть слегка испытав их на себе. Невозможно при свете солнышка, лёжа на гамаке в обществе любимых лиц, поставить себя в положение подобных страдальцев, а прогулка вроде нашей уже поможет нам понять их. Вот где польза её, вот зачем я приехал сюда, всё, что я терплю, мне же идёт на пользу.

Я подбодрился. Скоро въехали в город и стали стучаться в запертые ворота, скандалили полчаса, дошло до полного озлобления и бессилия, вымокли до нитки и после этого, тронувшись дальше, заметили, что ломились не туда, куда надо, так как наши ворота были дальше.

Как хорошо было переодеться и выпить чаю. Эта прогулка будет мне очень долго памятна.

* * *

3 июня. Я лежу на кане и читаю лекции о пороках сердца Гинтылло. Уже поздно. Ночь была дивная. Часов до 12-1 мы сидели на дворе и мирно толковали об общих знакомых, рассеянных по разным концам России, и все одинаково далеко от нас. Полная луна спокойно и ласково освещала наш двор. Двухолки, лошадей, крыши фанз, поросшие травой, наш стол и оживлённые лица, как-то покойно и радостно сиявшие при перечислении милых имён и характеристик дорогих, близких людей. Порой мне казалось, когда я смотрел вверх, на чисто малороссийское небо, что я сижу где-то на хуторе в мирной обстановке. Но вот компания стала расходиться. Волей-неволей пришлось ложиться спать.

И вот перед самым сном мы вдалились в медицинские разговоры, и мною овладело клиническое академическое настроение. Мне вдруг захотелось спокойной педантической и разумной работы, чтения и слушания лекций, я стал соображать, когда я найду её и особенно усердно займусь. Масса намеченных книг вспомнилось мне. Подвернись одна из них сейчас под руки, и, кажется, я, немедленно принявшись, прочёл бы её зараз, не отрываясь. Потом я перескочил с книг на обстановку, в которой я привык работать, на людей, окружавших меня при занятиях, мысли стали читаться.

— Доктор, — вдруг раздаётся над головой резкий встревоженный голос. Я вскакиваю. Передо мной бородастая голова только что поступившего к нам санитаря.

— Чего Вам?

— Адъютант прислал казака.

Зову казака, — Чего?

— Тревога, скорей собирайтесь и ждите дальнейших распоряжений.

Я было опешил, но скоро сообразил, где я, что мне говорят и что надо делать. Поспешно одеваясь, в то же время разбудил доктора и товарищей.

Потом бросился готовить перевязочный материал и аптеку, лежавшие на моей ответственности. Вокруг бегали, хлопотали, но суеты не было. Разбудили больных, велели им одеться и ждать двуколок, собрали вещи. Я вышел на двор. Там посередине стоял Гинтылло и кричал на санитаров, путавших спросонья сбруи и седла. Их было слишком мало. Умаявшись за день, лучшие санитары всё же успевали запрячь по две-три двуколки, но два-три лентяя и теперь еле-еле справлялись с одной. Я хотел заняться носилками, но Гинтылло послал меня в штаб, чтобы узнать распоряжения.

Я вышел на улицу. Перед штабом, разукрашенным по случаю приезда принца Леопольда³¹, стоит штук двадцать ординарцев, впереди их ходят несколько офицеров и распоряжаются. Заметны волнение и суета. Но вот выходит Мищенко³², и всё стихает, и дальше всё идёт гладко, спокойно и определённо. Он садится на вынесенное кресло и сразу окружается ординарцами с позиций с донесениями. Его спокойные приказания передаются адъютантами. Мне приказано вести двуколки на край деревни. Я передаю это Гинтылло, а сам всё же остаюсь около Мищенки на случай новых распоряжений. Вылетает прапорщик Касякин. «На, спрячь это», — орёт он ординарцу и передаёт ему бутылку водки. Не успевает он кончить фразу, как раздаётся отчаянный треск ружейной пальбы пачками, заставивший меня вздрогнуть, и сильнее забилося сердце.

Вот подъезжает кавалькада всадников. В темноте не видно формы. Передний подъезжает к генералу и, держа руку у козырька, рапортует:

— Его Королевское высочество желает немедленно проститься с Вами и ехать назад, просит конвой и экипаж.

Мищенко спокойно слушает и обещает конвой, не ручаясь за экипаж. Германский полковник благодарит, прощается и поворачивает коня. Отъехав, он оборачивается и, перебивая другие донесения, вопит:

— Экипаж, ради Христа!

Слышится сдержанный хохот. Мищенко одобряет его. Новый залп совсем близко. В стороне слышится свист пуль. Я невольно оглядываюсь и вижу, что общее спокойствие нарушается. Адъютанты нервничают. А Мищенко и головы не поднял, крепко задумался. Я глубоко сочувствую ему. Весь вечер прошёл в пиршестве с принцем, среди пляса уральцев, лезгинки терцев, песен и музыки, никто не чаял наступления. Донесения тревожные, и всё ближе и ближе слышны залпы. Как велика ответственность, лежащая на нём, не только формальная, но и нравственная. Тем более, что все, кругом стоящие, глубоко веря в него, вполне предавшие в его руки всё, не могут поддержать его ни советом, ни самостоятельным делом.

Всё, что делается, исходит от Мищенко. Есть, о чём подумать умному и доброму старику. Понемногу улица заполнилась арбами, двуколками, лошадьми и мулами. Ещё один залп, противный, сухой треск его рвёт уши. Мне казалось, стреляют за фанзой. После мне говорили, что ряд пуль пролетел по всей деревне. Одновременно показались в воротах наши последние

двуколки. Я бросился к лошади, так как весь отряд уже выехал, но ни одной не было оседлано. Санитары забыли мою просьбу. Ничего не оставалось, как вскочить на лошадь товарища без стремян, подушки и уздечки и скакать вдогонку отряда.

Впереди тянулся обоз. Налево стояли батареи, готовящиеся к стрельбе, и резервные сотни. Вскоре мы подъехали к краю Ляоянвопы и, продвинувшись вперед, стали. Оставив часть персонала при двуколках, Гинтылло и я двинулись назад к Мищенке. Не успели мы повернуть, как грянула артиллерия. Удивительно успокаивающе действует гром её орудий. Он покрывал треск ружейной пальбы и своим грозным величием поселял какую-то уверенность в силе нашего сопротивления. Честно говорю, что мелкое волнение, вызванное залпами, сразу улеглось во мне, и я спокойно осматривался. Уже рассвело вполне, и всё, казавшееся таинственным и мрачным, стало ясным и приветливым. Стреляла первая батарея под командой дивного стрелка Гаврилова³³. Здорово гудела она, и звук разрыва следовал немного спустя за звуком выстрела. Вой удалявшегося снаряда заставлял меня задумываться об участии японцев, но не грустно, как бывало раньше, вне битвы, приходится сознаться в том. Я не боялся за себя, но вид потянувшихся носилок с ранеными казаками заставлял меня желать скорейшей и сильнейшей обороны их.

Мы подъехали к месту нашего лазарета. Я повернул лошадь во двор, чтобы осмотреть его. Гинтылло за мной. Только мы въехали во двор, как я услышал резкий свист, жужжание и короткий удар. Над передней фанзой вспыхнуло и разошлось белое облачко. Японцы подвезли артиллерию и кидали шрапнель. Гинтылло подскакал к стене и по ней мы выехали на улицу. Я всё же не ощущал ожидаемого волнения и страха. Мы прошли вперёд. Там показался раненый офицер. Пальба становилась неумолчной. Видно, Гаврилов и Мищенко рассердились. Японцы тоже участвовали свою пальбу и, казалось, над нами, а на самом деле, сбоку всё чаще и чаще жужжали, выли и хлопали шрапнели. Я перевязал руку офицеру. В это время отрядный врач поручил нам осмотреть и освободить наши двуколки. Пришлось ехать назад. По дороге я оглядывался и каждый раз видел на фоне голубого леса в том месте, где стояла наша батарея, 5–6 белых облачков. На краю рощи стояла 4-ая батарея, и её офицер, саженный крошка Сеченов, немедленно попросивший водки. Мы выехали из деревни и стали догонять свой отряд. Проехав версты полторы, Гинтылло попросил у меня папироску. Только что я развязал сумку, как услышал свист, потом облако земли взвилось шагах в ста от нас, и раздался удар. Японцы заметили наш обоз и стали обстреливать его справа шимозами. Вскоре разорвалась еще пара. Пришлось свернуть влево и ехать болотом. Шимозы ложились всё ближе и ближе, последний залп лёг шагах в 40–50. Мне как-то не верилось, что это — не шутка, не маневры, и что пролети она вперёд, в нашу компанию, мы могли бы серьёзно пострадать. Обоз рассыпался и рысью пошёл через болото к холмам. Моя зебра сильно спотыкалась, и Гинтылло уехал вперёд.

Годзяновский ехал в стороне. Выехав за холмы, мы остановились, и Годзяновский стал писать донесение об обстреле с серьёзной миной, воображая себя по меньшей мере Наполеоном. Мне стало и смешно, и досадно. Поругавшись мал-мала, поехали вперёд. Солнце стало шибко припекать. Долго скакали мы рысью по песчаным холмам, пока не догнали нашего обоза. Там принимали раненых. Были тяжёлые ранения в голову и грудь. Один был такой здоровый, сильный, просто загляденье, теперь он лежал со сломанной рукой, раздробленной костью и смятым подбородком. Как обидно было видеть этого беспомощного Геркулеса. Я с ужасом смотрел на мои грязные руки, которыми нужно было касаться повязок и ран этих несчастных. Стоны и жалобы слышались из всех двуколок. Один немедленно скончался.

Освободив три двуколки от больных, Гинтылло, Ширяев и я поехали опять вперёд. Но далеко мы не могли проехать. Мы видим впереди две сотни, которых немедленно разогнали 7 шимоз японцев, достигших уже Ляо-янвону. Вслед за этим смолкла пальба.

Мы потащились окольной дорогой в Монголию. Я уже часа четыре сидел на лошади и, обжигаемый лучами солнца, стал сильно уставать. Бессонная ночь давала себя знать. Раза два я чуть не упал с лошади, невольно закрывал глаза и сразу же засыпал. Кругом ни души, холмы, пески, кустарник, редкие цветы внизу, голубой покров и яркое могучее пятно наверху, тишина полная, душно и знойно, что-то давит и гнетёт рассудок. Мне вспоминается сильное описание зноя в «Красном смехе». Я положительно теряю сознание. Мы останавливаемся, я сразу же валюсь на землю и, уткнувшись лицом в песок, засыпаю тяжёлым беспокойным сном.

Просыпаюсь через час и сразу не могу сообразить, где я? Вдали виден поднимающийся обоз. Мы присоединяемся к нему. Я поражаюсь многочисленностью и громоздкостью обоза. Он растянулся по меньшей мере на версту в длину и сажень на 60 в ширину. Мы направляемся к деревне Тайхози. Зной достигает максимума. Все имеют обалделый вид, размякли и озлоблены. Я порываюсь напиться мутной грязи, по которой ступают наши лошади, но опасения медика преодолевают пагубное желание усталого человека. Въезжаем в деревню и бросаемся к колодезю. Там давка и руготня. Я всё же добиваюсь кружки воды, конечно, не чистой, но зато мокрой и холодной. В ожидании квартиры я валюсь на траву и опять забываюсь на короткий срок. Просыпаюсь со страшной головной болью и направляюсь в фанзу. Я плохо соображал остаток дня. Смутно помню перевязку и осмотр больных, потом ужин, какие-то разговоры о том, кому ехать с больными. К головной присоединилась сильная горловая боль, и я, разбитый и больной, ложусь спать, со страхом ожидая ночью тревоги.

* * *

4 июня. Просыпаюсь бодрый и почти здоровый, но поздно. От души благодарю японцев за то, что дали выспаться и отдохнуть днём. К нам набирается масса народу, и я удираю гулять на высокую горку позади деревни. Лежа там до вечера, любовался широкой и вольной картиной степей. Когда стемнело и множество костров засверкало вокруг всей горы, слышалось пение всеобщей и общий гул жизни 7000 человек, я задумался о впечатлениях этих дней и с радостью убедился в том, что ни одной минуты я не струсил (не то, что тогда в Харбине), но всё вместе оставило по себе тяжёлое чувство ненужных мучений, хоть и интересных и эффектных.

Говорят, что до 300–500 японцев пострадало от нашего огня, такого красивого и чуть ли не симпатичного до времени выяснения его результатов. Японцы наступали как бешеные с пением и папиросами в зубах, сплошными колоннами, и если бы одновременно не производилось два обхода, то Мищенко истребил бы их. Тяжело было думать об этом, глядя на дивную мирную картину лагеря.

Придя домой, я столкнулся с Гинтылло, принёсшим телеграмму: «„Вестник Маньчжурской армии“. Токио (официально). Японское посольство опубликовало начало мирных переговоров», — прочёл он. Боже, какая искренняя радость овладела мной. Конец резни, бессмысленной бойни, ужасной авантюры.

Достойная награда ждёт героев-победителей и, будем надеяться, справедливое взыскание потерпят люди, виновные в несчастьи побеждённых. Конец испытанию героических сил одних и бессилия других. Конец желанный и нужный, самый благоприятный, хоть и страшно тяжёлый временно. И одна телеграмма за другой подтверждают первое известие. Боже, только бы не ложью и не временным приступом благоразумия оказалось это. Весь вечер прошёл в весёлом, оживлённом разговоре, пении и даже лёгкой выпивке.

* * *

11-го я, воспрянувши духом, отправился вместе с Ширяевым в Харбин. После трёх дней странствий, побывавши и в 3-ем лазарете, где в то время происходил погром, и на 84-ом разъезде, где трудно было добиться пристанища, отчаянно вымокли в первый же день путешествий так, что из правого сапога вода лилась, избивши себе мягкие части, добрались до Гунчжулина. Там всё по-старому. Масса сестёр, ничего не делающих, франтоватых, с ужасом и негодованием глядевших на наши грязные костюмы, куча офицеров, столующихся и ухаживающих за счёт Креста, тьма уполномоченных и гнетущая, невыносимая тоска. Попавши в эту милую среду, руки опускаются, мозг отупевает, и только одна мысль побуждает встрепенуться, мысль о скорейшем побеге отсюда. Такой тоскливой обстановки я никогда

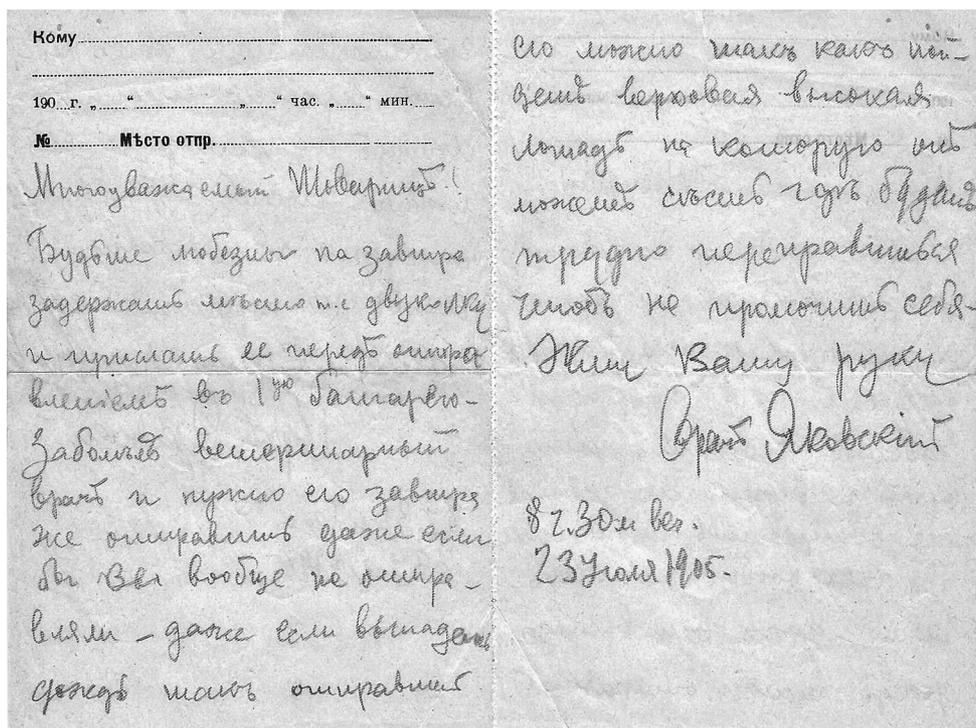
не видел. А есть люди, которые приезжают сюда отдыхать! В любовании развратом и праздностью. Отрадное учреждение — почта побаловала меня тремя подробными, милыми письмами от мамы. Скорые известия подбодрили меня. Будучи в Харбине, мне казалось, что я еду уже в Россию. Самоё путешествие из Гунчжулина в Харбин обставлено отлично. У всякого, записавшегося на место, его перебить никто не может. С нами ехала премилая, удивительно дельная и идейная сестрица. Я сильно радовался, глядя на её отношение к публике, солдатам, врачам. Но это была первая настоящая работница, которую я видел тут.

В Харбине резервного народу мало, зато канцелярщина просто ужасная. 45 комнат с писарями, курьерами с лампасами без петличек, с петличками, братья милосердия, заведующие, артельщики, тьма всяких «состоящих при управлении». Васильчиков³⁴ самодержавствует. Бюрократия процветает. Вся эта свора чиновников говорит только о наградах, окладах, командировках, точь-в-точь как офицеры впереди. На вопрос «что нового из России?» слышишь равнодушное «не знаю, ничего не поймёшь». Врачи, студенты, фельдшера, приезжающие с позиций, сразу бросаются на газеты и, перебивая друг друга, ругаясь из-за номеров, делятся новыми сведениями. Они наголодались, иной раз раньше писем схватишь газету, а эта банда равнодушно слушает, скептически осмеивает алчность пришельцев из неведомого им мира живой работы к новостям, к ещё лучшей работе их товарищей. Гадко было глядеть на этих истуканов. Но тут всё же не было этой ужасной тоски Гунчжулинского резерва. И тут слышны были сплетни, и тут нечего было делать, но одного отсутствия сестёр и их милого щебета было довольно, чтобы чувствовать себя менее тяжело. Я обрадовался чистой постели, высокой, с подушкой, в чистой комнате с белыми стенами, с окнами, мебелью, так, как будто нашёл нечто такое, что считал уже навеки потерянным. Наше пришествие в общежитие произвело фурор. «Откуда Вы, что с Вами, как Вы дошли до подобного состояния?» — слышались кругом вопросы, глупо щекотавшие наше самолюбие. Трудно было представить, чтобы можно было радоваться своей же грязи. А это так. Эта глупая бравада очень развита тут, и я видел хорошо, что многие из тех, кто наружно издевался над нами, внутренне желал бы и сам побыть в нашей шкуре, только бы казаться «маньчжурским волком». Ужасный и всё же лестный эпитет. Поймавши себя на этом, я поторопился найти свои вещи и переодеться. Все вещи были на месте, к моей неизъяснимой радости я сейчас же получил их и буквально преобразился из хулигана в джентльмена вроде уполномоченных. Всё было чисто, ново, удобно и даже казалось удивительно изящно.

Моя обросшая грязная морда не гармонировала с платьем, и я собрался идти бриться. Но вдруг (я просто остолбенел) здесь рядом со мной раздался дивный романс «Пиковой дамы» в исполнении хорошо знакомого голоса Кузы и Насиловой. Я не сразу догадался, в чём дело, замер и слушал. Только

сейчас я понял, как горячо жажду я хорошей музыки, как мне недостаёт её. Звучал один романс за другим, а я всё обалдевал и обалдевал. Под конец даже как-то взвыл, вовсе неподходяще для европейца, каковым я стал себя чувствовать. Вышли на улицу, безумно грязную, грязную по-маньчжурски, но обстроенную европейскими домами, не лишённую народных прохожих, по-петербургски одетых, выложенных офицеров. Много женщин, и есть даже ребята. Я старался не смотреть на них, хотя невольно глаза обращались на их маленькие славные фигурки. Не место тут олицетворению спокойного чистого счастья.

Навстречу идёт плотный чёрный офицер. Он был ранен под Ляоян-вупу, и первую и солидную повязку делал ему я. Он так страшно просил меня тогда о помощи. Я ему кланяюсь, он не отвечает. Стараюсь объяснить это тем, что он не узнал меня, но всё же расстраиваюсь. Зашли на вокзал. Но поскорей ушли. Сутолока, пьянство и флирт. Мне стало грустно. Слишком скучен и гадок тыл, скучен своей безалаберностью, гадок бездушием и грязью (нравственной, что значит в сравнении с ней наша «летучая» грязь!). По настоянию Ширяева пошли в ресторан, пили и ели вкусно,



Заявка на двуколку, сохранившаяся между листами дневника

но всё это казалось натянутым, неестественным, скучным. Все яства я променял бы на гадкий «летучий» чай лишь в России, в своей среде. Когда мы шли домой, навстречу тянулась вереница извозчиков с пшютами-седоками и расфуфыренными женщинами.

На другой день приезда я уже дежурил, словом, вошёл в прежнюю жизнь, несравненно более чистую и приятную, чем тыловая. Мы переехали в сад к Мищенко. Живём в палатках, в небольшой кучке деревьев, уютно и почти чисто. Жизнь лучше, чем тогда в Ляоянвопу, тогда мы жили в грязной фанзе на грязных канах посреди объедков, разбросанных после ежеминутных посещений офицеров, сопровождавшихся выпивкой. Какая масса их посещала нас, не было минуты, свободной от гостей. Были и симпатичные, как есаул Мищенко, редко я так внезапно привязывался к человеку, как к нему. Были и несимпатичные. В числе их почти все — врачи. Теперь нет ни того картежа, ни разгула, когда просиживали ночи, не обращая внимания на больных, выпивали массу вина, проигрывали тысячи. Было больше удобств, больше и эксплуататоров их. Теперь нас посещают только те, кто действительно расположен к нам. Что мы делаем? Да кое-что всё же делаем. Человек 10 в день примем, переведем, остальное время читаем, спорим. Развлечений почти нет. Один день похож на другой, как две капли воды.

* * *

13 июля. Вот уже 10 дней я за Гинтылло властвую отрядом. К скуке прибавились мелкие надоедливые беспокойства новой роли. Апогея они достигают в дни дежурств по околотку, как, например, сегодня. С каждым пустяком лезут все и каждый. Ругань из-за мяса, зелени, колёс, зерна, ссоры санитаров и прочее. На моё счастье и тяжёлых больных везут в мои дни. Помню в прошлый раз принесли больного в судорогах. Несчастный мучился ужасно, и я ничего не мог для него сделать. Я весь вечер ломал себе голову, чем облегчить ему страдания. Встал ночью, посмотрел его. Чудная ночь, звёздная, тихая. Рядом поют, вдали гремит оркестр читинцев. Кажется, кругом мирная местность с весёлым населением, обеспеченным и счастливым, а на самом деле больным помощи оказать нечем. Страшно становится в такие ночи. Гнетёт тоска и тупая злоба на что-то, виновное во всем ужасе этой обстановки. Сегодня привели больного ухом и чуть ли не слепого от рождения. Что я могу ему сделать? 4 студента смотрели на него, говорят, что надо делать, и не делают, потому что не могут сделать. Здоровые кругом ходят и радостно говорят о близости мира. Зачем же эти несчастные ещё страдают, хочется крикнуть. Непосредственный ужас войны, битвы не так действует на нервы, как вид этих «небоевых» жертв. Впрочем, быть может, я придираюсь. Я действительно расстроен. Постоянная тревога о тревоге, возможности ссоры с санитарями, столкновения с офицерами, подобными Ящурову, доводят до отчаяния. Тут были дни, что я изводился подобно

тому, что было в Питере, неистовствуя при мысли, что ещё месяц я должен жить так. Всё валилось из рук, всё раздражало. Последнее время спокойнее, больше дела. Спокойнее считаешь дни до отъезда, до возвращения к милой, интеллигентной человеческой жизни, скорей бы, скорей.

* * *

6 августа. Три недели не трогал дневника. Всё не было повода. Много интересного и ничего выдающегося. С 3-го по 28-ое продолжалось моё старшинство. Тяжело было очень, особенно, когда грязь лишила нас подвоза хлеба и прочих припасов и не давала возможности вывоза больных, поступавших в большом количестве. Были дни гнилых сухарей. В то же время, мучаясь с хозяйством и его неладами, болея душой за больных и персонал, мучаясь недовольством товарищей, я должен был принимать и лечить больных, носиться в штабы и прочее. Доходил до озверения или до полного обессиления и отчаяния. Порой являлось желание плюнуть на всё и удрать сейчас же, сию минуту к тем, кто мог бы утешить и успокоить. Теперь вспоминается это время как кошмар, далёкий ужас, хотя физически ещё ощущаю его воздействие на меня. Я ослаб и апатичен до крайности. 28-го слегка ожил. Явился Гинтылло. Дня два ещё подежурил и поехал с ним и 5 двуколками в Монголию. Смотрел их монастырь, их страну, считал как мог и прогулялся, пожалуй, недурно, да не того хотелось. Зато видел поход генерала, для России типичного, не то, что Мищенко. Великий Гурко³⁵ вставал в 9 часов, делал 25 верст в день и о сытости людей и лошадей справлялся на другой день. Кокетничал с монголками, ругая их по матери. Гнусная морда.

Вернулся я оттуда, удравши вперёд. Пришлось ехать вечером и ночью. Красивый вечер в степи, дивный ароматный степной воздух, тишина кругом настроили меня удивительно хорошо. Я плёлся на Рыжем в компании доктора Черевинского и 11 казаков, двух двуколок и, забывая, что всё это — аксессуары войны, предался самым мирным мечтам о скором приезде в Россию и свидании с моими. Кругом стрекотали кузнецы и квакали лягушки, орали кулики. Я не заметил, как стемнело, и громадная красная рама полезла из-за горизонта. Всё приняло новый, тоже прекрасный, мирный, но таинственный оттенок, я смотрел кругом и восхищался красотой обстановки.

Тяжёлые тучи ползли на луну, серебрившую степь, по которой чёрными гребнями торчали очертания барханов, гаоляна³⁶ и разных деревьев. Впереди деревня. «Казаки, вперёд, не сбивайтесь в кучу», — кричит вдруг Черевинский. Станный крик, почему он сразу заставляет меня вспомнить о том, что я на войне, быть может, в 200 шагах от японцев. Вперёд выскакивает казак и несётся к деревне. Все зашевелились, прыгнули к земле, зорко всматриваясь вперёд и в гаолян. «Вот-то ахнут японцы», — шепчет около меня казак и почему-то радостно улыбается. Гинтылло нервно дергает

лошадь. На фоне луны торчат дула винтовок, бряцают шашки моих спутников. Странно сознавать себя и видеть Гинтылло совершенно безоружными. Мы равняемся с густым садом за низкой глиняной оградой. Все смотрят налево, вглубь деревни. На душе беспокойно, смурно, как в детстве на кладбище. И вдруг лай и крик китайцев. Всё волнение сразу утихает и все бросаются с вопросами, нет ли в деревне японцев. Китайцы галдят, и, видимо, это всех радует. Дальнейшая часть пути опять спокойная, мирная, даже уже скучная.

Вчера весь день писал отчёты. Ничего выдающегося за 21 день. Имели безмолвные дежурства, имели беседы с офицерами о наградах, ругань с санитарями и мечты о скором отъезде. А ведь мелочей разных масса. Много забавных встреч, комичных разговоров, но нельзя всё это записать. Одно, что остается неизменным до мелочей, это думы о малышах, Гранкине, маме, Басе, ушаках и прочем.

Милые, дорогие, любимые, повторяю про себя, думая эти думы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Харбин* – город в Маньчжурии (Северо-восточный Китай), основанный русскими в 1898 году в качестве железнодорожной станции Китайско-Восточной железной дороги. Вплоть до 1940-х годов являлся крупнейшим местом пребывания русского населения в Китае.

² Речь идёт о *Мукденском сражении* – самой крупномасштабной и кровопролитной сухопутной битве Русско-японской войны, развернувшейся в окрестностях города Мукден в феврале-марте 1905 года. Сражение завершилось оперативной победой японской Императорской армии и привело к снятию русского главнокомандующего генерала от инфантерии А. Н. Куропаткина.

³ *Хунхузы* – члены организованных бандитских формирований, состоявших преимущественно из этнических китайцев. Банды хунхузов действовали в Маньчжурии, Монголии, на севере Кореи и на российском Дальнем Востоке с конца XIX до середины XX вв. Во время Русско-японской войны использовались японцами в разведывательных и диверсионных целях.

⁴ *Шимоза* – вид снарядов к 75-мм полевым и горным пушкам, которые широко применялись японской армией в описываемый период.

⁵ *Рикша* – вид транспорта, распространённый в странах Азии, представляющий собой повозку, которую тянет за собой человек, взявшийся за оглобли.

⁶ *Фанза* – традиционное одноэтажное сельское жилище на Северо-востоке Китая.

⁷ *Кумирня* – небольшое святилище (молельня).

⁸ «*Летучка*» – жаргонное обозначение Летучих санитарных отрядов Российской обществу Красного Креста – подвижных формирований, предназначенных для оказания первой медицинской помощи раненым на поле боя.

⁹ *Лежар* Феликс-Мари (1863–1932), французский врач, адъюнкт-профессор медицинского факультета в Париже. Автор нескольких книг по неотложной хирургии.

¹⁰ В данном контексте – повозка.

¹¹ То есть «хорошо» по-китайски.

¹² *Ходи* — национальное (презрительное) прозвище китайцев, принятое на русском Дальнем Востоке.

¹³ *Чумиза* (или чёрный рис) — однолетняя зерновая и кормовая культура.

¹⁴ *Архалук* — вид восточного мужского кафтана, застегивающегося крючками.

¹⁵ *Линевич* Николай Петрович (1838–1908), русский военачальник, генерал от инфантерии. В марте 1905 года сменил генерала А. Н. Куропаткина на посту главнокомандующего вооруженными силами Дальнего Востока.

¹⁶ Имеются в виду революционные беспорядки, вспыхнувшие в Санкт-Петербурге в январе 1905 года.

¹⁷ *Плеве* Вячеслав Константинович (1846–1904), действительный тайный советник, министр внутренних дел Российской Империи с 1902 по 1904 гг. Убит революционными террористами.

¹⁸ *Ковалевский* Николай Николаевич (1858 — после 1934), российский либерал и земский деятель. Во время Русско-японской войны, главноуполномоченный земской организации в Маньчжурии.

¹⁹ *Гапон* Георгий Апполонович (1870–1906), православный священник. Организатор рабочей забастовки и массового шествия рабочих в Санкт-Петербурге 9 января 1905 г., закончившегося расстрелом демонстрации и положившего начало революционным беспорядкам 1905–1907 гг. Впоследствии убит эсерами по обвинению в предательстве революции.

²⁰ *Гучков* Александр Иванович (1862–1936), российский предприниматель, общественный и политический деятель. Во время Русско-японской войны состоял помощником главноуполномоченного Российского Общества Красного Креста при Маньчжурской армии, уполномоченным города Москвы и Комитета Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. Весной 1905 года попал в плен к японцам, так как не пожелал покинуть Мукден вместе с отступающими русскими войсками и оставить находившихся в госпитале раненых. Позже, в 1910–1911 гг. председатель III Государственной Думы, в 1915–1917 гг. член Государственного Совета, в 1917 г. военный и морской министр Временного Правительства.

²¹ В Санкт-Петербурге по адресу: Каменноостровский проспект, дом 13 располагалась квартира отца автора, действительного статского советника Александра Петровича Ивашенцова (1857–1913).

²² Речь идёт о двоюродном дяде автора, капитане Василии Васильевиче Ивашенцове (1865–1905), погибшем в ходе Мукденского сражения.

²³ Автор упоминает жену капитана В. В. Ивашенцова — дочь купца 2-й гильдии Антонину Петровну Ивашенцову (урожденную Кузьмину), а также незамужнюю сестру Екатерину Васильевну Ивашенцову (?–1924).

²⁴ То есть события так называемого Кровавого воскресенья 9 января 1905 года.

²⁵ «*Корабль*» — стиль в православной церковной архитектуре, при котором все помещения храма расположены в одну линию.

²⁶ Библейский (новозаветный) сюжет об обращении к вере на пути в Дамаск гонителя христиан Савла, ставшего апостолом Павлом.

²⁷ *Барон Каульбарс* Александр Васильевич (1844–1929), русский военачальник, генерал от кавалерии. В описываемый период, командующий 2-й Маньчжурской армии.

²⁸ *Кургауз* — помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий.

²⁹ Речь идёт о гибели 2-й Тихоокеанской эскадры Российского Императорского флота под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского в ходе Цусимского морского сражения 14–15 мая 1905 года.

³⁰ Вероятно, имеется в виду, граф Эммануил Павлович Беннигсен (1875–1955), член Главного управления Российского общества Красного Креста в Маньчжурии.

³¹ *Принц Фридрих Леопольд Прусский* (1865–1931), член Прусского Королевского Дома. Генерал-лейтенант (позже генерал-полковник) Германской имперской армии. Верховный протектор масонских лож Пруссии. В 1905 году принц со свитой из германских офицеров был откомандирован германским императором Вильгельмом II на театр военных действий Русско-японской войны.

³² *Мищенко* Павел Иванович (1853–1918), русский военачальник. В описываемый период, генерал-лейтенант, командир Отдельной Забайкальской казачьей бригады, затем отдельного отряда. Отличился в многочисленных сражениях, в том числе под Лаояном, Муكدеном и Сандепу. В 1905 году предпринял, так называемый набег на Инкоу — рейд конницы в глубокий тыл японцев. Позже, генерал-адъютант, генерал от артиллерии, участник Первой мировой войны. Застрелился, будучи арестованным большевиками.

³³ *Гаврилов* Василий Тимофеевич (1867–?), российский военный деятель. В описываемое время, командир 1-ой Забайкальской казачьей батареи. За отвагу, проявленную в боях с японцами, произведён в полковники, флигель-адъютанты и награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Позже, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны.

³⁴ *Князь Васильчиков Борис Александрович* (1860–1931), российский государственный деятель. Шталмейстер, действительный статский советник. С началом Русско-японской войны был назначен главноуполномоченным Российского общества Красного Креста в северо-восточном районе. С октября 1904 по ноябрь 1905 гг. находился в районе действовавшей армии в Маньчжурии. В 1906 году был назначен председателем Российского общества Красного Креста.

³⁵ *Гурко* Василий Иосифович (1864–1937), сын российского генерал-фельдмаршала. Во время Русско-японской войны — штаб-офицер для поручений при управлении генерал-квартирмейстера Маньчжурской армии, затем командир 2-й бригады Забайкальской казачьей дивизии. За боевые заслуги произведён в генерал-майоры. В 1906–1911 гг. председатель Военно-исторического комитета по описанию Русско-японской войны. Во время Первой мировой войны — генерал от кавалерии, главнокомандующий армиями Западного фронта. Умер в эмиграции.

³⁶ *Гаолян* (или сорго) — злаковая или травянистая растительная культура.

Публикация и комментарии *Сергея Манькова*